

И. С. ТУРГЕНЕВ И РАЗВИТИЕ РУССКОГО ОБЩЕСТВА *

Публикация редакции «Литературного наследства»

Примечания К. П. Богаевской

... я стремился, насколько хватало сил и умения, добросовестно и беспристрастно изобразить и воплотить в надлежащие типы... то, что Шекспир называет: the body and the pressure of time.

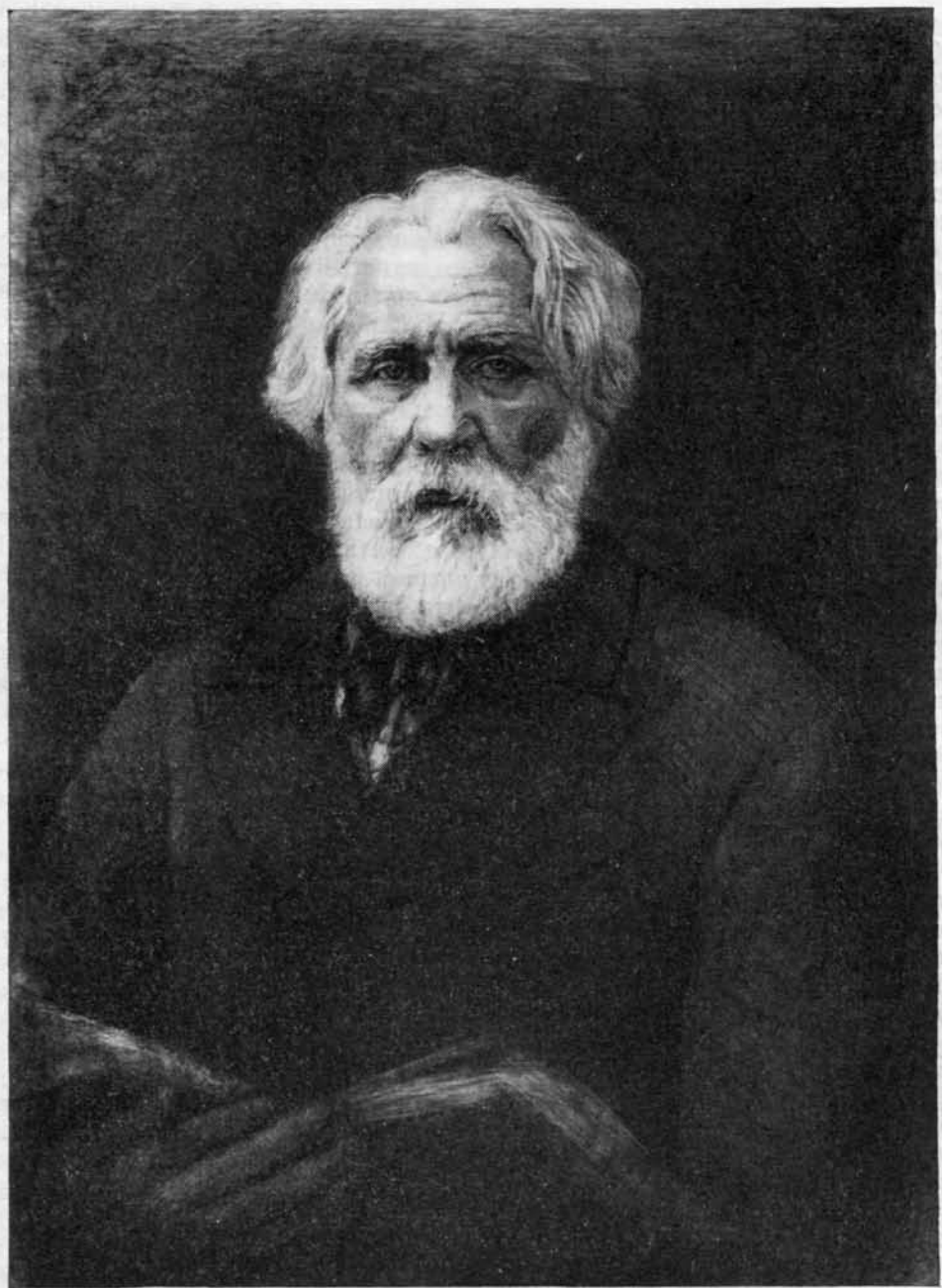
Изд. 1890, III, пред., V—VI *

И. С. Тургенев перешел в историю. Не прибавится ни одной новой строки к его произведениям, ни одного нового дела к его жизни. Эти произведения и эта жизнь лежат перед наблюдателем как законченное целое, которое можно и следует оценить, не опасаясь, что новое произведение художественного творчества, новый фазис изменчивой жизни, может прибавить к этому целому новую черту, может принудить наблюдателя к изменению оценки целого. Если в рукописях великого художника слова окажутся ненапечатанные отрывки, если появится на свет тот «дневник»², о котором он иногда упоминает, едва ли можно допустить, что эти посмертные откровения выкажут Ивана Сергеевича сколько-нибудь иным, чем теперь уже знают его по его литературным произведениям и по его разговорам.

Не о художнике и не о частном человеке имею в виду я сказать несколько слов здесь. Эстетической оценке не место на страницах «Вестника Народной Воли»; лишь более близкие к нему люди, чем я, имеют возможность и право говорить о различных сторонах его частной жизни, о различных проявлениях его личного характера. К тому же в этих двух отношениях, как мне кажется, мнение о нем установилось уже в форме довольно определенной оценки. Один из первых для нашего времени — если даже не первый — художников слова по ясности, цельности и красоте образов, по творчеству живых личностей, он оставил ряд произведений и галерею типов, которые вошли невыделимо составною частью в историю не только русского слова, но всемирного искусства. Он был человек «добрый» в самом точном и обширном значении этого слова и имел право не только во имя своего понимания, но только во имя своего художественного творчества, но во имя всей своей жизни написать слова о доброте (I, 353—354): «Да, одно это слово имеет еще значение перед лицом смерти. Всё пройдет, всё исчезнет, высочайший сан, власть, всеобъемлющий гений, всё рассыплется прахом... „Всё великое земное разлетается, как дым...“ Но добрые дела не разлетятся дымом, они долговечнее самой сияющей красоты»³.

Я имею в виду иную сторону его деятельности. И. С. Тургенев принадлежал к поколению, которое пережило едва ли не более значительное изменение в русском обществе, чем все предыдущие, не исключая, может быть, и того, которое было современником первой ломки российских обычаев при Петре I. Тогда ломка шла именно лишь в формах внешнего обычая, а строй общественной мысли оставался почти нетронутым; в последние полвека все элементы мысли и жизни общества в России подверглись самым коренным потрясениям, и старая Русь декабристов, Жуковского и первых годов Николая представляет предание, которое едва ли не так же трудно нам воскресить в его реальности, как французу современной третьей

* Мы печатаем первую часть статьи Лаврова «И. С. Тургенев и развитие русского общества» по «Вестнику Народной Воли», 1884, № 2. Вторая часть этой статьи широко известна. Она вошла в сборник Т. в восп. рев., стр. 20—79. Текст статьи сверен А. Л. См о л я к с автографом и правленной Лавровым корректурой, хранящимися в его архиве (ЦГАОР, ф. 1762, оп. 2, ед. хр. 357). — *Ред.*



ТУРГЕНЕВ

Офорт В. В. Матэ, 1883

Библиотека СССР им. В. И. Ленина, Москва

В 1880 г. Тургенев позировал В. В. Матэ, который сделал ряд набросков, использованных им впоследствии для этого офорта наряду с фотографией М. М. Панова

республики пережить мыслью состояние духа якобинцев и жирондистов 90-х годов прошлого века. Это поколение, родившееся во второй половине царствования Александра I, видело еще ту эпоху, о которой Тургенев говорил в 1868 г.: «Время было тогда очень уже смиренное» (I, 12)⁴, настолько смиренное, что автор «Ревизора» в 1836 г. не сознавал, что начинается литературная революция; и коронованный капрал, Николай I, не сознавал, что свою высочайшею волею разрешал ей начинаться. Это поколение пережило литературный расцвет русского натурализма, который явился во имя эстетической правды борцом за правду нравственную и за достоинство человека, униженное рабством большинства населения России, раболепием и животными инстинктами ее господствующего меньшинства. Это поколение прошло через период пробуждения развитой доли меньшинства, когда ненависть к существующим порядкам николаевщины выразилась громадным развитием подпольной литературы, а ряд все умножающихся крестьянских бунтов доказывал необходимость изменения экономической организации общества, что фатально должно было повлиять и на все группы, недоступные прямому влиянию роста общественной мысли. Это поколение отпраздновало «именины сердца», ту кратковременную и призрачную эпоху реформ, когда «политические свободы» казались уже для оптимистов (а многие ли были тогда не оптимистами?) «так возможны, так близки», а тяжелое похмелье так скоро последовало за именинным пиром, внося раздор в среду «русских либералов». Это поколение увидело, старея, как ряды этих либералов редели, усиливая своими ренегатами ряды реакционеров и спекуляторов, из которых первые возобновили традицию Магницкого⁵, вторые являлись на смену старых наивных взяточников со всеми усовершенствованиями европейских биржевых и акционерных порядков. Это поколение дожило и до того революционного движения русской молодежи, которое доказало, что на почве России существовал материал не для одних обломовых и гамлетиков, а в то же время расшатало все основы русского самодержавия.

Человек развитой и в высшей степени гуманный, И. С. Тургенев не мог оставаться безучастным к грозной эволюции русского общества, совершавшейся около него и к «быстро изменявшейся физиономии русских людей культурного слоя» (III, пред. VI)⁶ под влиянием этой эволюции. Человек в полной мере «добрый», он мог вглядываться с сочувствием в хорошие стороны даже тех групп, которые не были для него симпатичны во многих отношениях. Первостепенный художник, он должен был стараться воспроизвести, воплотить в живые образы эту «быстро изменяющуюся физиономию», насколько он мог ее уловить в отдельных личностях, доступных его наблюдению. Но он пытался сделать и более. Под влиянием уважения и доверия, внушаемого многим его честною и гуманною натурою, и под влиянием собственного увлечения в нем от времени до времени проявлялось стремление деятельно участвовать в эволюции, совершавшейся около него. Эти случаи в его жизни были не особенно часты, но зато как любимый и влиятельный художник слова он мог в своих произведениях вести войну против того, к чему питал отвращение во имя своего развития; вести войну за то, что было ему симпатично. Еще более: в тех словах, которые поставлены эпиграфом этой статьи и которые писаны в августе 1879 г., И. С. Тургенев заявил, что ряд его главных произведений имел в виду «изобразить и воплотить в надлежащие типы... самый образ и давление времени».

Итак, он сознательно участвовал в процессе общественного преобразования, который совершался в русском обществе в его время; он сознательно в главных своих произведениях хотел быть не только художником, отражающим в образах, им созданных, верно и живо *некоторые* черты своего времени, но *общественным* художником, который уясняет «образ и дав-

ление времени» в его целом при помощи ряда живых разнообразных типов, ряда, охватывающего точно так же полно характеристические черты эпохи в ее целом, как всякий художник для создания отдельного типа живой личности охватывает все ее характеристические черты. С этой точки зрения общественного искусства И. С. Тургенев может подлежать оценке на страницах этого издания, хотя бы потому, что ни в одном легальном русском издании подобная оценка, высказанная прямо в связи с фактами современной истории русского общества, не была бы еще возможна.

Неподражаемая сила и живость, с которою наш романист мог создавать отдельные живые личности, не подлежит ни спору, ни сомнению. Но сделал ли он то же для «образа и давления времени», которое стремился «изобразить и воплотить»? Мог ли он даже по самому тому складу художественного творчества, которого он представил такие блестящие образцы, быть способным выполнить эту задачу? Мы постараемся это рассмотреть.

Художественное «изображение и воплощение» эпохи в ее целостности требует ряда характеристических типов, которые были бы расставлены на разных планах рассказа соответственно их действительной роли в данную эпоху общественного развития. Для этого необходимы не только сила художественного творчества, не только ширина гуманного взгляда на людей и события, но еще весьма разностороннее наблюдение современной жизни данного общества, долгое и близкое общение с его главными деятельными группами. Необходимо и глубокое понимание тех процессов, которые перерабатывают личные типы, вызывают в обществе новые задачи, отодвигают прежние на второй план. Всего необходимее в последнем отношении склонность художника проникать воображением в процесс эволюции, связывающий различные фазисы психической жизни одной и той же личности в ее последовательных трансформациях, связывающий в этой личности идеалы и задачи жизни вчерашние с сегодняшними, связывающий в последовательных поколениях идеалы и задачи жизни отцов с идеалами и задачами жизни их детей.

Изучая самый способ творчества личных типов в ряде произведений Ивана Сергеевича, можно убедиться, что последнюю задачу он никогда и не мог себе поставить. Единственные факты развития личности, им подмечаемые, это — переход из детства к зрелости и особенно пробуждение женщины в девушке (преимущественно под влиянием любви). Но вне этого личности, им созданные с неподражаемою живостью, остаются без изменения во все время его наблюдения. Благоприятные или грозные осложнения событий развертывают перед нами — иногда перед самими героями Тургенева — невидимые прежде в них черты характера; их ломают обстоятельства; но в основных своих чертах они *готовы* в первой сцене, когда нам их представляет их творец, и с теми же чертами они сходят со сцены. Мы не видим настоящих ренегатов, которые когда-то не позволяли думать, что они сделаются ренегатами. Мы не видим действительно очерстневших людей, которых мы знали неспособными к черствости; искренних сторонников развития, обратившихся в пошляков; слабых людей, в которых жизнь выковала твердость и решимость на дело. Во всех рассказах великого художника группы людей с определенными наклонностями сталкиваются при определенных условиях. Эти люди и остаются верны основным чертам своего характера в продолжение всего рассказа. Любовь женщины часто является развивающим, изменяющим элементом. Как заметил здесь верно один критик, «женщина особенно дорога Тургеневу, когда, преобразованная чудом любви, она находится в состоянии страстного тяготения к чему-то великому и светлому, но неопределенному, далекому, туманному»⁷. Как только это «преображение» совершилось, и она остается неизменною. Драма совершается под влиянием внешних событий для всех ее участников. Она давит одних, ласкает других, но мы расстаемся с ними, оставляя их

с теми же существенными чертами характера, которые мы в них видели при первом знакомстве с ними, или при первом кризисе, их определившем. Может быть, эта особенность творчества Ивана Сергеевича сообщает еще более пластичности образам, им созданным, как свет, концентрированный на неподвижную статую, но она оставляет в стороне огромную область основного изменения в характере и в целях жизни, изменения, которое совершается очень нередко в личностях, иногда вырабатывает героя из весьма обыкновенного смертного, всего же чаще, путем едва заметных уступок и падений, доводит личность до мыслей и поступков, которые для нее были совершенно *невозможны* в прежнее время. Едва ли иной участник первой «Земли и Воли» начала 60-х годов не оскорбился бы совершенно искренно, если бы ему *тогда* показали его теперешнюю фигуру инженера-спекулятора. Едва ли иная даровитая анархистка не убила бы себя тому немногие годы, если бы ей *тогда* сказали, что она будет чувствовать «глубокую вражду» к людям, умирающим на виселице за свободу русского народа. Прогрессирование и регрессирование личностей под влиянием среды составляет один из весьма важных элементов драмы нашей жизни. Но для художника, ставящего себе целью воплотить в живые типы общественные явления, способность разглядывать и понимать эти процессы эволюции составляет совершенно необходимый элемент творчества, и тот, чье творчество личных типов направлено в иную сторону, может быть, окажется слабым в отношении способности уловить смысл общественных процессов именно потому, что он выкажет громадную силу в пластичной обрисовке личностей, удерживающихся на одном моменте своего развития.

Зная, что значительная часть жизни Ивана Сергеевича была проведена им за границею, можно предполагать, что лишь при необыкновенных условиях он был бы в состоянии приложить к современной русской жизни то разностороннее наблюдение, которое было бы ему необходимо для решения поставленной им задачи, и войти в долгое и близкое общение с главными деятельными при этом группами. Обширное знакомство, доверие, внушаемое характером Ивана Сергеевича людям самых разнообразных лагерей, и широкая гуманность, позволившая ему сохранить восприимчивость к самым различным направлениям, могли лишь отчасти пополнить эти недостатки, и великий романист чувствовал это. Он жадно прислушивался к тому впечатлению, которое производили его произведения на родине, волновался и унывал, когда они встречались недружелюбно, волновался и унывал потому, что не мог не сознавать возможности ошибок при недостаточном наблюдении и недостаточном общении с деятелями на родине, а в то же время понимал, что «изображение и воплощение в надлежащие типы» русской общественной жизни требует от общественного художника полного умственного общения с течением мысли в России. Ошибки и пробелы были почти неизбежны, и только тонкому нравственному чутью художника, ширине его взгляда мы обязаны, что ошибки эти были не значительно больше, а что иногда, напротив, он угадывал некоторые действительные явления русской жизни далеко вернее и шире, чем его сверстники, соперники его по таланту, но стоявшие далеко ниже его по развитию.

Само собою разумеется, что вне художественной деятельности общение Ивана Сергеевича с русским обществом в последовательных фазах эволюции последнего могло и проявляться реже и представлять некоторые неровности, легко объясняемые как удалением его от России и отрывочностью его сношений с нею, так и влиянием той среды, в которой он пребывал более постоянно. К тому же здесь приходится пользоваться для сведений частными сообщениями, которые могут быть лишь случайными, а во многих случаях факты остаются неизвестными по неудобству для лиц, знающих дело лучше других, обнародовать то, что им известно. В этом отношении

личность И. С. Тургенева будет обрисована дополнительными чертами еще в будущем. Тем не менее и то, что до сих пор известно, представляет уже материал, который, по всей вероятности, будет лишь дополнен в будущем, но существенных изменений едва ли потерпит. Мои личные сношения с Иваном Сергеевичем были далеко не так часты и близки, чтобы я мог внести значительный вклад в эту картину, но, может быть, не лишним будет сообщить и в этом отношении две-три черты, на которые не было указано другими, а частью и не могло быть указано в легальной прессе.

Сделаем же краткий очерк того, как указанные выше фазисы эволюции русского общества, пережитые поколением, к которому принадлежал Иван Сергеевич, отразились в его произведениях и в его жизненной деятельности.

Иван Сергеевич мало останавливался на типах того «очень уже смирного времени», которое другой знаменитый его современник, Герцен, характеризовал следующим образом («Полярная звезда» VII, I):

«Россия *будущего* существовала исключительно между несколькими мальчиками, только что вышедшими из детства, до того ничтожными и незаметными, что им было достаточно места между ступней самодержавных ботфорт и землей — а в них было наследие 14 декабря, — наследие общечеловеческой науки и чисто-народной Руси... (113). Нравственный уровень общества пал, развитие было перервано, все передовое, энергическое вычеркнуто из жизни. Остальные — испуганные, слабые, потерянные — были мелки, пусты; дрянь александровского поколения заняла первое место... Под этим большим *светом* безучастно молчал большой *мир* народа; для него ничего не переменилось... Между этой крышей и этой основой дети первые приподняли голову... этими детьми ошеломленная Россия начала приходить в себя (116)»⁸.

Тургенев в своих воспоминаниях и в своей лекции 1859 г. о Пушкине назвал это время «смирным по духу и трескучим по внешности» (I, 13)⁹ и спросил «на какой ступени общества тогда не царила пошлость?» (I, 37)¹⁰. Он сам принадлежал к тем «ничтожным и незаметным мальчикам», поколению которых было суждено «привести в себя ошеломленную Россию». Он упомянул (I, 8) о «свободных, чуть не республиканских убеждениях»¹¹ молодежи своего времени. Но в типах, им созданных, он воссоздал лишь одну сторону тех «кружков», из которых выработались первые протестанты против «царства пошлости» и против унижения человеческой личности.

Умственная и нравственная распушенность, позволяющая в обществе это царство пошлости и это унижение личности, не могла исправиться сама собою. Новое поколение было воспитано в кружках, где дисциплинировалась слабая личность и вырабатывалась упражнением личность сильная. Первые, всегда наиболее многочисленные, всегда обреченные на отсутствие инициативы и самостоятельности в мысли и в жизни, могли только обменять обычай одного поколения на обычай другого, обычай царства пошлости и унижения личности на обычай протеста против этого царства. Но вторые, будущие борцы за лучшее будущее, могли совершить свое дело лишь при условии, чтобы их окружала хотя небольшая среда этих людей нового обычая, обычая протеста. Художник-наблюдатель не мог не подметить противоречия, представляемого многочисленными второстепенными участниками этого движения мысли, когда требования протеста, критики, самостоятельного развития повторялись людьми, слепо и почти бессознательно подчинявшимися новым формулам, не способными ни к какой самостоятельной и оригинальной деятельности. Художник-наблюдатель подметил и более сложное явление — фразеров, которые вырастали на этой почве нового обычая, фразеров, одаренных блестящей способностью формулировать новое течение, воплощать его в яркое и возбудительное слово, но не способных воплотить его в энергическое дело,

внести его в жизнь. Впоследствии, в воспоминаниях созревшего художника, как результат наблюдения жизненной несостоятельности этого самого многочисленного слоя, вышедшего из воспитательных кружков «ничтожных и незаметных мальчиков» первой половины николаевского времени, эти «кружки» вызвали образы преимущественно отрицательные. И вот Гамлет Щигровского уезда восклицает (II, 303 и след.):

«Кружок — да это гибель всякого самобытного развития; кружок — это безобразная замена общества, женщины, жизни. Кружок — это ленивое и вялое житье вместе и рядом, которому придают значение и вид разумного дела; кружок заменяет разговор рассуждением, приучает к бесплодной болтовне, отвлекает вас от уединенной, благодатной работы, прививает вам литературную чесотку; лишает вас, наконец, свежести и девственной крепости души. Кружок — да это пошлость и скука под именем братства и дружбы...; в кружке... ни у кого нет чистого, нетронутого места в душе; в кружке поклоняются первому краснобаю, самолюбивому умнику, довременному старику... В кружке процветает хитrostное красноречие; в кружке наблюдают друг за другом не хуже полицейских чиновников...»¹².

И не следует думать, что это для Тургенева *только* «преувеличения» Гамлета Щигровского уезда. В 1863 году, в фантастическом рассказе, где пред художником восстают сны человечества о прошедшем и настоящем, высасывая кровь и жизнь из человека, который сказал творческой силе этих снов: «возьми меня!», в этом рассказе истощающее действие этих «призраков» напоминает автору состояние, в котором он выходил «в четвертом часу ночи от московских приятелей, с которыми с самого обеда толковал о будущности России и значении общины» (VIII, 37)¹³.

Как поразительный продукт этих «кружков» художник дал нам Рудина, этого «замечательно умного, хотя в сущности пустого» человека (III, 62), который мог вызвать в голове младших товарищей тот хаос, когда «белое казалось черным, черное — белым, ложь — истиной, фантазия — долгом» (III, 72) и который предсказывал себе: «Я кончу тем, что пожертвую собой за какой-нибудь вздор, в который даже верить не буду» (III, 110)¹⁴.

Во всех тех изданиях «Рудина», которые мне удалось видеть, он умирает в июньские дни на баррикадах. Мне говорили, что в первом издании этого не было¹⁵. Мне кажется, что для психологической верности типа оно и совсем не могло быть, или могло быть лишь как случайность. Тип Рудина есть именно тот, который может выработаться и почти необходимо вырабатывается в периоды, когда новый поток мысли создает массу личностей, готовых идти за «вождем» во имя нового учения, и когда, вследствие этого явления, становятся вождями, рядом с теми, кто ведет на энергическое и самоотверженное дело, и такие, которые наслаждаются ролью вождей, направляют свой обширный ум и разнообразные способности на художественную выработку в себе типа вождя, но остаются неспособными на реальное дело. Эти обыкновенно на баррикадах не умирают.

Художник в своем личном творчестве имеет полное право создавать Рудиных, и Рудин Тургенева есть живая, типическая личность, характеризующая свое время. Оно характеризуется теми статистами этого движения, которые будут подавлены средою, как Гамлеты Щигровского уезда, или обратятся в благоразумных практических Лежневых. Но общественный художник, который «воплощает в надлежащие типы образ и давление времени», видит не только это.

Сам Тургенев замечает не только это. Напомним слова Лежнева (III, 68 и след.):

«В представьте, сошлись человек пять-шесть мальчиков, одна сальная свеча горит, чай подается прескверный и сухари к нему старые-престарые; а посмотрели бы вы на все наши лица, послушали бы речи наши! В глазах

MESSAGER DE LA VOLONTÉ DU PEUPLE

ВѢСТНИКЪ НАРОДНОЙ ВОЛИ

РЕВОЛЮЦИОННОЕ
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ
ОБОЗРѢНІЕ

№ 2.

ГОДЪ ПЕРВЫЙ

ЖЕНЕВА
Вольная Русская Типография

1884

И. С. ТУРГЕНЕВЪ И РАЗВИТИЕ РУССКАГО ОБЩЕСТВА

... и старался, насколько хватало силъ и утѣли, добросовѣстно и безпристрастно изобразить и воплотить въ надлежащее тѣло... то, что Шпенглеръ называетъ: the body and the pressure of time. Нод. 1880, III, пред. V—VI.

И. С. Тургеневъ перешелъ къ исторіи. Не прибавится ни одной новой строки къ его произведеніямъ, ни одного новаго дѣла къ его жизни. Эти произведенія и эта жизнь лежатъ передъ наблюдателемъ, какъ законченное цѣло, которое можно и слѣдуетъ оцѣнить, не опасаясь, что новое произведение художественнаго творчества, новый фазисъ нѣмѣиной жизни, можетъ принудить наблюдателя къ измѣненію оптики зрѣлаго. Если въ рукописяхъ великаго художника слова окажутся ненапечатанные отрывки, если появятся на свѣтъ тѣхъ „дневникъ“, о которыхъ онъ иногда упоминаетъ, едва ли можно допустить, что эти посмертныя откровения выкажутъ Ивана Сергѣевича сколько нибудь инымъ, чѣмъ теперь уже знаютъ его по его литературнымъ произведеніямъ и по его разговорамъ.

Не о художникѣ и не о частномъ человѣкѣ имѣю въ

«И. С. ТУРГЕНЕВ И РАЗВИТИЕ РУССКОГО ОБЩЕСТВА».

СТАТЬЯ П. Л. ЛАВРОВА

«Вестник Народной Воли» № 2. Женева, 1884

Обложка журнала и страница с началом статьи

у каждого восторг, и щеки пылают, и сердце бьется, и говорим мы о боге, о правде, о будущемъ человечества, о поэзии — говорим мы иногда вздор, восхищаемся пустяками; но что за беда!»¹⁶

Да, мы узнаём их; это те мальчишки, «ничтожные и незаметные», которые «первые приподняли голову». Они говорят не только «о боге и о поэзии», но и о свободе; не только «о будущемъ человечества», но и о страданияхъ русскаго народа, о возмутительности русскаго императорскаго самовластія. Это была среда, которая сделала возможными Грановскихъ, Белинскихъ, Герценовъ, Бакуниныхъ, окружила ихъ атмосферою, дозволившею имъ укрепиться и развиться, сделаться учителями и вождами поколѣній, создать свободный русскій станокъ за границею, оставить свой неизгладимый следъ въ революціонныхъ партіяхъ Европы во имя характеристическаго изреченія: «радость разрушенія есть радость творчества». Широкая гуманность Ивана Сергѣевича и его искренняя доброта побудили его вложить въ уста Лежнева слова: «Рудину мы были тогда обязаны многимъ» (III, 68)¹⁷. Но рядомъ съ Рудинымъ развивались въ этихъ же самыхъ кружкахъ настоящіе учителя, развивались те, имена которыхъ мы только что написали. Между теми, изъ которыхъ художникъ почерпнулъ некоторые черты для «замечательно умнаго, хотя и пустого» Рудина, оказались и люди, способные въ случаѣ нужды умереть на баррикадахъ за дело, которому «верили». Если справедливо, что сцена

смерти Рудина прибавлена впоследствии, это есть невольное признание художника, что в кружках, выработавших Гамлетов Щигровского уезда, Лежневых и Рудиных, были весьма важные элементы, им не «воплощенные в надлежащие типы», были силы, им слабо подмеченные как художником, но весьма существенные. Тип Рудина, может быть, пострадал в живости и цельности от этой черты (если не допускать, что он умер за «вздор, в который даже не верил»), но выработка в России сознательных людей дела и энергической решимости была отмечена.

И Тургенев знал их. В Покорском стоит на заднем плане «Рудина» образ, навеянный Станкевичем, потеря которого была так тяжела для Ивана Сергеевича. Он оставил нам несколько страниц о Грановском, к которому «как к роднику близ дороги, всякий подходил свободно и черпал живительную влагу»¹³. Старательный этюд посвятил он памяти своего «учителя» Белинского¹⁹. Лишь цензурные условия помешали ему, вероятно, оставить воспоминания о Герцене и Бакуanine. Но в «надлежащие художественные типы» он не воплотил эти личности, самые крупные, самые характеристические для этого периода. Его личное творчество воспроизвело с неподражаемою силою и верностью *один угол* обширной картины, в которую развевывались «образ и давление времени» в эпоху раннего развития поколения, к которому он сам принадлежал. Но целая картина осталась не нарисованною, и если мы забудем о том, что знаем из других источников о людях этого времени, нам покажется чудесным и невероятным, как могло из «кружков» гамлетиков и фразеров выйти поколение, которое «привело в себя ошеломленную Россию».

Тем не менее оно вышло из этих кружков. Борьба против царства пошлости и угнетения человеческой личности началась на почве реальной беллетристики и литературной критики. Иван Сергеевич был одним из ее участников. Он дал Аннибалу клятву «не примиряться» с «крепостным правом», причем под этим термином он «собрал и сосредоточил все, против чего решился бороться до конца» (I, 3)²⁰. Мы можем теперь определить яснее область, которая подразумевалась под этим термином: это было не только унижение личностей раба и рабовладельца в процессе легального рабства: это было унижение личности русского интеллигентного человека перед мумиею чистообрядного православия, неспособного постоять ни за что и ни против чего; это было унижение личности члена русского общества перед архаическим самодержавием русского императорского правительства. Борьба началась. Идя на литературной почве, она устанавливала значение художника и требования художественной правды. Прежде чем в «Муму», или в «Постоялом дворе», в «Бригадире» Тургенев воплотил в вечно живые образы ужасы легальных крепостных отношений, он в критике «Фауста» Гёте (1845 г.) высказывал, что «у каждого народа... литературная эпоха... мало-помалу приуготовляет другие, более обширные развития человеческого духа» (I, 126). Он видел в «Фаусте» «чисто эгоистическое произведение», так как «для Фауста не существует общество, не существует человеческого род: он весь погружается в себя; он от одного себя ждет спасения» (I, 105 и след.). Он намекал, что «лишь в переходное, неопределенное время позволительно было поэту быть только человеком... пока не существует твердой почвы для человека, не любящего жить одними мечтаниями» (I, 205 и след.). Мефистофель для него — «бес людей..., которых глубоко смущает какое-нибудь маленькое противоречие в их собственной жизни и которые с философическим равнодушием пройдут мимо целого семейства ремесленников, умирающих с голода» (I, 206 и след.). Он ставил выше «другой могучий образ», пред которым бледнел и исчезал Мефистофель, это воплощенное проявление критического начала в ограниченной сфере отдельной личности» (I, 207). Тургенев поднимал вопрос: «...каким образом может человек, не выходя из сферы лично человеческого, дойти

до полного округления своего существования?» (213)²¹. Тогда более определенно говорить было нельзя, но читатели приучились разглядывать между строками жажду деятельности с обществом и для общества, борьбу против тяготеющих над литературой и над обществом сил. Это была эпоха пребывания Белинского в Петербурге и знакомства с ним Тургенева, эпоха, когда Белинский защищал мнение «черни» против Пушкина, что «печной горшок» ей «дороже» произведений искусства (I, 42)²². Лишь двадцатью годами позже (1864) Тургенев писал, что «искусство» и «красота» «сильнее» «народности, права, свободы, человечества» (VIII, 53)²³, но это было, как мы увидим, в эпоху самого болезненного уныния в его литературной деятельности.

Борьба заострялась. Идол реализма, автор «Мертвых душ», самый бес-сознательный революционер русской мысли, какие только бывают на свете, издал свою «Переписку с друзьями», и русские литературные натуралисты со всей публикою, пробужденною их критическими и беллетристическими произведениями, отвернулись от своего идола, доказывая тем, что для русской интеллигенции натурализм был лишь формою, под которою она жаждала слова борьбы против царства пошлости и унижения человеческой личности. Стало циркулировать громовое письмо Белинского к Гоголю. Прогремел февраль 1848 года. Умер Белинский, произнося в предсмертном бреду призывную речь к русскому народу. Настали июньские дни, и Тургенев, живший уже два года за границею, увидел ту «трагедию», которая выросла из «комедии», по-видимому, начавшейся на парижских бульварах (I, 133)²⁴. Он находил, что ему «не приходилось драться ни по ту, ни по сю сторону баррикад» (там же), но он видел отражение битвы, слышал «веерообразные залпы» расстреливаний инсургентов, видел, наконец, того простого человека в блузе, которого он изваял для потомства в рассказе «Наши послали!». С началом «Современника», в первом номере которого появился «Хорь и Калиныч», началась его настоящая деятельность как романиста, и он вступил в число первоклассных европейских писателей. Из-за невинной статьи о Гоголе на него обрушилась бессмысленная, но тяжелая рука николаевского правительства и после двухнедельного ареста он отправился почти на четыре года ссыльным в свое имение²⁵.

Заметим здесь, что Иван Сергеевич в приведенном выше месте предисловия к своим большим повестям говорит лишь о воплощении в типы изменений «физиономии русских людей культурного слоя», а не народа и потому ему нельзя поставить в упрек, что он не начертил надлежащим образом нарождающийся тип кулака, который должен был сделаться столь характеристичным для русского общества последнего периода, а в Колупаевых и Расторгуевых другого великого современного писателя сделается теперь для читателя вполне знакомым. Симпатичный Хорь, мелодраматический Наум «Постоялого двора» и слегка очерченный Николай Иванович «Певцов» представляют наброски, которые и живы, и верны, но которые не дают ни малейшего представления о роли этого развивающегося класса в «образе и давлении времени» последнего периода.

В своей ссылке Иван Сергеевич написал «Рудина»²⁶ и дожидаясь до нового царствования, которое доставило ему свободу, возможность снова ехать за границу и оттуда участвовать в тех «именинах сердца», которые праздновала тогда русская интеллигенция, полная надежд; эпоху, когда Катков был защитником английских свобод и «Русский вестник» читался молодежью чуть ли не с таким же удовольствием, как «Современник», который находился под руководством Н. Г. Чернышевского и в котором с 1857 года начал работать Добролюбов.

Оптимистические надежды охватили не только легальную Россию, но и эмиграцию. Герцен писал 18 февраля 1858 г.:

«Ты победил, Галилеянин! ... Мы имеем дело уже не с случайным преемником Николая, — а с мощным деятелем, открывающим новую эру для России; он столько же наследник 14 декабря, как Николая. Он работает с нами — для великого будущего. — Имя Александра II отныне принадлежит истории»²⁷.

Еще 1 апреля 1861 г. основатель русской свободной типографии говорил:

«Из дали нашей ссылки мы приветствуем его... именем *освободителя!*»²⁸

Бакунин в 1862 г. печатал:

«19 февраля 1861 года Александр II был самым великим, самым любимым, самым могучим царем, который когда-либо царствовал в России».

И прибавлял:

«И теперь было бы еще не поздно... Теперь... за кем мы пойдем?.. За Романовым, за Пугачевым, или, если новый Пестель найдется, за ним? — Скажем правду; мы охотнее всего пошли бы за Романовым, если бы Романов мог и хотел превратиться из петербургского императора в царя земского»²⁹.

Едва ли кому покажется удивительным, что И. С. Тургенев разделял эти увлечения. Зимой 1857—58 годов он проводил в Риме вместе с кн. В. А. Черкасским, В. П. Боткиным, гр. Н. Я. Ростовцевым и некоторыми другими русскими. Они «устроили сходки, на которых обсуждались все стороны этого жизненного вопроса» (о намерении правительства освободить крестьян), и результатом этих совещаний был план основания журнала, программой которого и объяснительную записку к которому писал Иван Сергеевич. Ее характер вполне соответствовал «именинному» настроению времени (см. «Русскую старину» за сентябрь 1883 г.)³⁰.

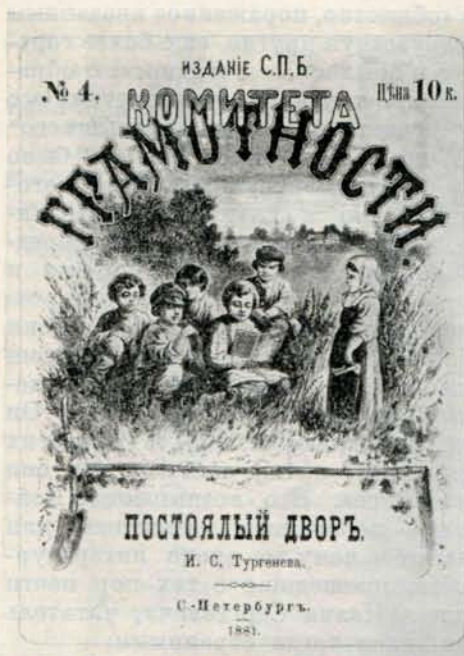
В «Записке» Ивана Сергеевича говорилось о «правдивой и честной попытке русского правительства устроить наш крестьянский и земледельческий быт», о «тайном и даже явном сопротивлении дворянского сословия», о расчете дворянства на комитеты «для утверждения и охранения того, что оно считает своими правами», о «власти, в настоящем случае недействительной и даже слабой, при всем своем вообще громадном могуществе». Для внесения «света в этот хаос» предлагалось средство:

«Оно состоит в возбуждении и призвании всех живых общественных сил к дружному содействию царю — следовательно, в возбуждении и призвании также и тех сил, которые до сих пор были поставлены в недоверчивое отдаление от правительства — и готовы теперь с радостью, открыто, безо всяких задних мыслей и тайных намерений, отдаться в распоряжение власти, явно стремящейся к водворению и упрочению общего блага. Эти силы — я назову их: это русская наука и русская литература...»

«Мы чувствуем, что мы можем быть полезны власти — и мы все проникнуты готовностью быть ей полезными, сослужить ей в настоящем случае посильную службу... мы идем к власти, не потому что она — власть, а потому что она желает истины и добра, — и не налагает на нас никакого отречения, не принуждает нас к лукавству. Мы верим ей; пусть и она поверит нам».

Журнал, которому имелось в виду дать скромное название «Хозяйственного указателя», должен был быть «исключительно и специально посвящен разработке всех вопросов, касающихся собственно до устройства крестьянского быта и вытекающих из того последствий» и должен был являться «адвокатом распоряжений правительства» и «пояснять его намерения». Успокоивая всячески «власть» на счет возможной опасности этого издания и доказывая его полезность для самого правительства, записка Ивана Сергеевича кончалась словами:

«Много темного оставило нам прошедшее; но выйти еще можно из темноты на свет, когда царь идет впереди своего народа. Связать его лучшие



а большой Н... Я дорожусь, въ одиночку почти разстояніи отъ дому уединеннаго городка, чрезъ который она проходитъ, еще издаже стою въ обширномъ постояль дворѣ, очень хорошо извѣстный тропинкой извозничьей, обонявъ кудряшки, дитячества приключившагося торговца, и вообще всѣхъ многолюдныхъ и разнообразныхъ прохожихъ, которые во малое время сюда накатываютъ наплывъ дороги. Вышелъ, всѣ заворачивали за тотъ дворъ. Развѣ только сплывъ-плывъ выскочила карета, запряженная шестерикомъ доверженнѣйшихъ лошадей, торжественно приняла меня, что не вѣщалъ одному на сучурѣ, не знаю на какой-то съ баскомъ то «общинны» чувствахъ и выжила въ повозку за сплывомъ мѣхъ лавкины прищелки; или какой-нибудь толкѣ въ длинной толкѣхъ и съ тремя пятаками въ кошель за пазухой, порывавшись съ богатыми дворянъ, погналась «во»

«ПОСТОЯЛЫЙ ДВОРЪ»

Из серии изданий С.-Петербургского комитета грамотности. СПб., 1881

Обложка и страница первая рассказа

Гравюры И. И. Матюшина и В. Ф. Адта по рисункам И. С. Панова

силы воедино и направить их к великой цели может только царь; и совершенные этого подвига достойно того сердца и ума, в котором созрела мысль об освобождении русского крестьянина».

Кн. Черкасский взял записку с собой в Россию «на рассмотрение предрасказныхъ властей», которые, конечно, нашли все это «рановременнымъ», а затем русский либерализм начал мало-помалу опохмеляться от «имени сердца».

К этой эпохе надежд и постепенного их разрушения относятся три из тех произведений Ивана Сергеевича, на которые нам следует обратить внимание. Это — «Накануне», «Гамлет и Дон-Кихот» и лекция о Пушкине, читанная для небольшой великосветской аудитории, но отрывки из которой Иван Сергеевич поместил в своих воспоминаниях³¹. Все эти произведения относятся к 1859 г. К этому же времени относится и первое — весьма, впрочем, не близкое мое знакомство с Иваном Сергеевичем по поводу чтений в пользу Литературного фонда, на первом из которых (10 января 1860 г.) он читал «Гамлета и Дон-Кихота», а потом способствовал устройству моих «Бесед о современном значении философии» в ноябре того же года в пользу того же фонда.

В своей лекции о Пушкине Тургенев напомнил «ложную величавость» официальной школы николаевского времени, где все «гремело, кичилось, считало себя достойным украшением великого государства и великого народа, — а час падения приближался» (I, 35 и след.). Он говорил о дальнейшей эпохе, когда «сила независимой, критикующей, протестующей личности восстала против фальши, против пошлости — а на какой ступени общества тогда не царила пошлость? — против того ложно общего, несправедливо-узаконенного, что не имело разумных прав на подчинение себе

личности» (I, 37 и след.); об эпохе, когда «общество, пораженное внезапным сознанием собственных недостатков, предчувствуя другие, еще более горькие разочарования в будущем — которые и сбылись, — с жадностью обратило слух свой к новым голосам и принимало только то, что отвечало его новым потребностям. „Торквато Тассо“ Кукольника, „Рука всевышнего“ исчезли, как мыльные пузыри; но и „Медным всадником“ нельзя было любоваться в одно время с „Шинелью“» (I, 37). Лектор поставил, к негодованию своих невежественных слушательниц и слушателей, Белинского рядом с Лермонтовым и Гоголем. Литературная революция, предшественница политической и социальной, развертывала свое знамя и провозглашала свою традицию.

В «Гамлете и Дон-Кихоте» Тургенев выставил прямо догматически то превосходство людей смелого, самоотверженного дела над людьми эгоистического самоуглубления и неспособности к делу, которое в художественных формах составляет главное содержание «Накануне». Он признал за людьми типа Гамлета «вражду с ложью» (I, 345) и то, что их скептицизм не есть индифферентизм (там же), но он отметил, что они «одинок», «бесплодны» и «бесполезны массе». Его возвышение Дон-Кихота, — я это очень хорошо помню, — показалось натянутым для публики и было большею частью отнесено к чему-то вроде литературного каприза. Но теперь, имея за собою прошедшие с тех пор почти четверть века и позднейшие произведения Ивана Сергеевича, читатель открывает иной смысл в словах, казавшихся тогда странными:

«Некоторая доля смешного неминуемо должна примешиваться к поступкам, к самому характеру людей, призванных на великое новое дело (I, 351)... Масса людей всегда кончает тем, что идет, беззаветно веруя, за теми личностями, над которыми она сама глумилась, которых даже проклинала и преследовала, но которые, не боясь ни ее преследований, ни проклятий, не боясь даже ее смеха, идут непреклонно вперед, вперив духовный взор в ими только видимую цель, ищут, падают, поднимаются и наконец находят (I, 343)... Попирание свинными ногами встречается всегда в жизни Дон-Кихотов — именно перед ее концом; это последняя дань, которую они должны заплатить грубой случайности, равнодушному и дерзкому непониманию... Это пощечина фарисея... Потом они могут умереть. Они прошли через весь огонь горнила, завоевали себе бессмертие и оно открывается перед ними» (I, 350—351).

Мне придется несколько далее припомнить читателю эти строки.

О «Накануне» пришлось бы здесь говорить много, если бы мое дело в этом отношении не было очень сокращено тем, что я могу указать читателю на страницы, писанные под живым впечатлением повести Ивана Сергеевича одним из тех людей «дела» того времени, в горячем слове которых осуществилось для России все *дело*, тогда возможное; одним из тех учителей молодого поколения, в каждой строке которых билась ненависть к существующему и жажда возрождения России, билась нарастающая революция. Это были учителя, руководители и духовные отцы лучших людей семидесятых и восьмидесятых годов. Я могу сказать читателю одно: перечтите статью Н. А. Добролюбова «Когда же придет настоящий день?» (Соч. Добролюбова, III, 277 и след.)³².

Один из самых сильных и передовых умов эпохи оценил в этой статье с неподражаемой верностью значение типов, выведенных в повести, и «выразившиеся во всем ее строе общественную потребность дела, живого дела, начало презрения к мертвым принципам и пассивным добродетелям» (Соч. Добролюбова, III, 286). Он показал «живую связь» личности Елены «со всем нашим образованным обществом», ее жажду настоящего дела и ее невозможность довольствоваться тем, чем удовлетворяются даже «хорошие» люди около нее; ее мечты о достижении блага «без борьбы,

«ЖЕНСКАЯ ЭМАНСИПАЦИЯ,
НАЭЛЕКТРИЗОВАННАЯ
РОМАНАМИ „НАКАНУНЕ“
И „ПОДВОДНЫЙ КАМЕНЬ“».

Сатирический отклик на романы
Тургенева и М. В. Авдеева

Карикатура неизвестного
художника

«Искра», 17 марта 1861 г., № 10



без ущерба кому бы то ни было»; ее готовность идти туда, где есть это «настоящее дело». Если бы Добролюбов дождал до настоящего времени, он узнал бы Елену, отвечающую Инсарову (IV, 94): «Знаю», в той «русской девушке», которая, стоя на таинственном «Пороге», отвечает тоже: «Знаю... Я готова» (см. в конце этой статьи), не нуждаясь даже в той личной любви, которая проникала все существо Елены, сливаясь с ее исканием «настоящего дела».

Художник восклицал с Шубинным: «Нет еще у нас никого, нет людей, куда ни посмотри» (IV, 144). Он мрачно писал с Еленой: «Что делать в России?» (IV, 168). Только стихийным инстинктом Увара Ивановича он предсказывал: «Дай срок; будут» (IV, 144). Критик «Накануне» тоже писал: «Таких русских людей не бывает, не должно и не может быть», прибавляя, впрочем: «в настоящее время по крайней мере». Он, недавно написавший: «Что такое обломовщина?» и «Темное царство», с полным основанием мог сказать: «Русская жизнь сложилась так хорошо, что в ней все вызывает на спокойный и мирный сон и всякий бессонный человек кажется, не без основания, беспокойным и совершенно лишним человеком» (Соч. Добролюбова, III, 305 и след.). Он ясно противоположил «удобопонятную» задачу Инсарова, который мог сказать: «Последний мужик, последний нищий в Болгарии и я — мы желаем одного и того же» (IV, 66), и замыслы которого, по Добролюбову, «найдут сочувствие во всяком порядочном человеке» — «неудобопредставимой» задаче русского революционера перед сонным миром Обломовых, перед глухим

«темным царством», перед неуверенными ни в себе, ни в чем гамлетиками образованного общества, и перед народом, чуждым издавна тем самым людям, которые понимали его страдания, видели, куда надо идти, но могли выработать в России общность желаний и стремлений лишь ценою собственных «неудобопредставимых» дел, собственных страданий, ошибок, увлечений, ценою неисчислимых жертв, ценою собственной гибели. Добролюбов знал, что существует «круговая порука во всем, что делается перед его глазами» (Соч. Добролюбова, III, 311), и что зло, гнетущее Россию, может быть разрушено не отдельными кусками, а коренным, общим переворотом. Добролюбову нужны были не только фанатики с искренними и сильными убеждениями (I, 340). Он отбрасывал в сторону Дон-Кихота, отличительные черты которого — «непонимание ни того, за что он берется, ни того, что выйдет из его усилий» (Соч. Добролюбова, III, 107). Он требовал людей, для которых личное счастье было бы нераздельно со счастьем общественным, немислимо без него, людей, способных при этом «броситься на поиск счастья, приблизить его к людям, разрушить все, что ему мешает» (Соч. Добролюбова, III, 310). Ему нужны были «русские Инсаровы» для борьбы с «врагом внутренним», со «средою». Он писал (Соч. Добролюбова, III, 321 и след.):

«От этой среды, от ее пошлости и мелочности и должны освободить нас новые люди, которых появление так нетерпеливо и страстно ждет все лучшее в нашем обществе...

...С... внутренним врагом ничего не сделаешь обыкновенным оружием; от него можно освободиться, только переменивши сырую и туманную атмосферу нашей жизни, в которой он зародился, вырос и усилился, и обвеявши себя таким воздухом, которым он дышать не может...

Возможно ли это?.. Да... Старая общественная рутинка отживает свой век; еще несколько колебаний, еще несколько сильных слов и благоприятных фактов, и явятся деятели...

...Не долго нам ждать его (образа русского Инсарова): за это ручается то лихорадочное, мучительное нетерпение, с которым мы ожидаем его появления в жизни. Он необходим для нас, без него вся наша жизнь идет как-то не в такт, и каждый день ничего не значит сам по себе, а служит только концом другого дня. Придет же он наконец, этот день! И во всяком случае канун недалек от следующего за ним дня. Всего-то какая-нибудь ночь разделяет их».

Этот день настал. Новым Еленам не пришлось уже говорить: «Что делать в России?»

Ивану Сергеевичу принадлежит в «Накануне» большая литературная заслуга: он подметил и «воплотил в надлежащий тип» зарождение этой жажды к делу и отвращения от людей, к нему равнодушных, которое пустило корни в конце 50-х годов. Елена была действительно не только типом единично-художественным, но весьма важным литературным «документом» эволюции русского общества. Обставляющие ее типы были тоже характеристичны, и «Накануне» едва ли не более всех других повестей И. С. Тургенева удовлетворяло той задаче, которую он ставил себе в словах, принятых за эпиграф в этой статье. Но достаточно припомнить несколько строк из приведенной уже статьи Добролюбова, чтобы убедиться, что и здесь перед нами все-таки лишь высокохудожественное выполнение *одного угла* картины, которую частью дополняли другие талантливые современники Ивана Сергеевича. За «лучшими» людьми, за Берсеновым, за Шубиным, Курнатовским, Добролюбов видел еще многое (Соч. Добролюбова, III, 318).

«Там за ними начинается другой слой: с одной стороны, совсем сонные Обломы, уже окончательно потерявшие даже обаяние красноречия, которым пленяли барышень в былое время, с другой, деятельные Чичи-

ковы, неусыпные, неустанные, героические в достижении своих низенских и гаденьких интересов. А еще дальше возвышаются Брусковы, Большовы, Кабановы, Уланбековы, и все это злое племя предъявляет свои права на жизнь и волю русского люда».

Но Добролюбов умолчал и не мог не умолчать еще об одной группе, малочисленной, но особенно важной в данном случае, о группе, которой в «Накануне» мы не встречаем в обстановке Елены, но элементы которой мы видим смутно зарождающимися в ее душе. По сюжету «Накануне» относится к 1853 году. Конечно, люди конца 50-х годов тогда еще не действовали. Но женские и мужские первообразы Елен воспитывались и тогда не одною «болью о чужом страдании». У молодежи того времени были учителя. Берсеневы приносили Еленам того времени и печатные статьи Белинского, и переписанное письмо к Гоголю, и стихи Некрасова, и «Кто виноват?», и напечатанное за границей «С того берега», и первые произведения русской подпольной литературы, получившей такое огромное распространение в последние годы царствования Николая. Литературная революция уже началась в России и, рядом с Еленами, выработавшимися на почве лично пережитой «боли о чужом страдании», целое поколение людей с меньшею инициативою, с меньшею способностью самостоятельной выработки убеждений, росло в традиции революции. Носители этой традиции, учителя развивавшихся поколений, были теми людьми *дела*, которые поставили себе «неудобопредставимую» задачу «броситься на поиск общественного счастья, приблизить его к людям, разрушить все, что ему мешает», «переменить сырую и туманную атмосферу» русской жизни. Они боролись оружием слова, но в устах Белинского, Герцена, Некрасова, Чернышевского, Добролюбова слово было не только словом, но и делом. Оно было оружием подготовляющей революции. Только их воспитывающее слово могло подготовить ту среду, в которой началось и то, что называют «делом» в более узком смысле. Слишком редки личности, которые, как Елена, могут воспитать в себе «презрение к мертвым принципам» и «потребность к живому делу» путем личного опыта и размышления; но и Елене нужен был человек, который указал бы, где «настоящее дело». Большинству нужны учителя и эти учителя, эти революционеры в области слова, составляли характеристический элемент русского общества в ту эпоху, когда должны были совершаться события «Накануне». Они составляли еще более заметный элемент в то время, когда Тургенев писал свою повесть. Условия цензуры затрудняли, конечно, воплощение этой черты в «надлежащие» типы. Но для картины того времени эта черта была настолько существенна, что без нее и немислимо было бы дальнейшее общественное развитие русского общества.

Существовали самые зачатки практического дела. Правда, это были зачатки слабые, раздутые в нечто серьезное лишь полицейскими карьерами, но все-таки зачатки. Петрашевцы сидели в «мертвом доме». Самое полицейское преувеличение рисовало для молодежи эту довольно невинную попытку как нечто весьма серьезное.

К концу 50-х годов революционный характер передовой литературы сделался уже так заметен, что возмущил упорных оптимистов, не отрезвившихся вполне от «именинного» настроения, и толкнул в реакцию иных вчерашних либералов. «Русский вестник» принял тот характер, без которого трудно теперь вообразить себе что-либо, до чего касается г-н Катков, нынешний руководитель воли Александра III. На страницах «Русского вестника» появились в 1861 году «Отцы и дети».

Но я считаю нужным прежде упомянуть об одном эпизоде из моих воспоминаний этого времени, не особенно важном, но относящемся к участию Ивана Сергеевича в тогдашнем общественном движении.



ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ КИРСАНОВ,
ИЛЛЮСТРАЦИЯ К РОМАНУ
«ОТЦЫ И ДЕТИ»

Акварель П. М. Боклевского,
1870-е годы

Литературный музей, Москва

Осенью 1861 г., около эпохи «колокольного похода» и появления воззвания «К молодой России»³³, шли в петербургском литературном мире горячие толки об основании литературного клуба (который и был основан под фирмою «шахматного клуба»), и мне приходилось чаще обыкновенного бывать в собраниях молодых литераторов и нелитературной молодежи, группировавшейся около них. На одном из этих вечеров хозяин, мой близкий тогдашний приятель, литератор (и теперь здравствующий)³⁴, познакомил меня с молодым человеком, поляком, которого звали Бенни и который только что приехал тогда из-за границы. Этот же литератор мне говорил, что Бенни привез с собою разные бумаги от Тургенева и от Герцена (кажется) и, между прочим, я очень хорошо помню, что говорилось о «проекте конституции», написанном И. С. Тургеневым³⁵. Ни одной из этих бумаг я не видал и не читал. Я был сотрудником «Отечественных записок» и редактором «Энциклопедического словаря». Меня считали очень умеренным. В «Современнике» и в «Русском слове» печатались против меня статьи. Я не считал себя в праве спрашивать, чтобы мне показали эти бумаги, а те, до кого дело относилось, не находили нужным сообщать мне подобные вещи. Тем не менее мне случилось присутствовать чуть ли не при последней минуте существования этих бумаг. Несколько позже, в период гонения на студентов, арестовали сходку их в квартире литератора Альбертини³⁶. Узнал я это немедленно на вечере у одного бывшего правоведа (ныне почтенного сенатора³⁷, если он не умер, как до меня дошли смутные слухи), где были и Бенни и мой приятель литератор, меня с ним познакомивший. Бенни очень испугался полученного известия, опасаясь, по-видимому, тоже ареста. Высказана была необходимость сжечь бумаги, которые всё еще находились в кармане у Бенни (не знаю все ли, но, насколько помнится, тут тоже говорилось о проекте конституции Ивана Сергеевича). Мой приятель и Бенни удалились в другую комнату обширной квартиры хозяина, который охотно называл себя «чиновником-пролетарием». Там совершилось, по-видимому, ауто-да-фе. Так как весьма возможно, что до сих пор живы люди, которые

НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ КИРСАНОВ.
ИЛЛЮСТРАЦИЯ К РОМАНУ
«ОТЦЫ И ДЕТИ»

Акварель П. М. Боклевского, 1870-е годы
Литературный музей, Москва



тогда не только слышали о существовании проекта конституции Ивана Сергеевича, но и читали его, то очень не худо было бы, если бы они со-общили то, что помнят об этом, так как самый текст, по-видимому, по-гиб. Мне не случилось говорить об этом с Иваном Сергеевичем, да я, признаюсь, никогда и не придавал особой важности тем проектам, ко-торые писались в этот период «именинного» настроения. Но для биогра-фии Ивана Сергеевича это имело бы свое значение. Бенни впоследствии участвовал в последней экспедиции Гарибальди и был убит.

«Отцы и дети» вызвали самую ожесточенную полемику в лагере пере-довой прессы, целую литературу объяснений и комментариев; сам Иван Сергеевич посвятил подобным комментариям в конце 60-х годов целую статью своих «Литературных и житейских заметок»³⁸. Мы имеем, кроме того, его письмо по этому поводу к русским гейдельбергским студентам от 26/14 апреля 1862 года³⁹ («Общее дело», № 56); наконец, я слышал лично его объяснения в том же смысле. Так что теперь существует вполне достаточный материал для того, чтобы судить о действительном плане автора, о том, как поняли его различные группы его читателей в то время, когда «Отцы и дети» появились, и как он сам понимал свое произведение уже в 1862 году, остановившись и все укрепляясь в этом воззрении и впоследствии. Факт возбуждения «Отцами и детьми» такого движения мысли, которое они вызвали, указывает на их общественное значение, на то, что они затронули живой вопрос времени, но если автор и его читатели развиваются в разных средах, то несколько не удивительно, что движение мысли у последних совершится в направлении совершенно ином, чем то, которое имеет в виду автор, а когда это движение достигнет извест-ной силы, то его обратное воздействие на автора осветит для него его процесс творчества с новой стороны, остававшейся для него самого не сознанной во время его творчества, но потом нераздельно сливающейся с его представлением о собственном произведении.

Иван Сергеевич сам писал (I, 106): «Нужно постоянное общение с сре-дою, которую берешься воспроизводить». При частом и все более про-должительном пребывании его за границу, это общение его с Россией

неизбежно ослабевало. Он говорит (I, 97), что первая мысль его повести явилась у него за границею в августе 1860 г.⁴⁰; появилась же повесть в марте 1862 г. Большую часть этого времени он провел за границею, а между тем в России все яснее становился раскол между либеральными группами тех, которые продолжали ждать от правительственных реформ блага для России, и тех, которые видели возможность чего-либо лучшего лишь в энергическом давлении общества на правительство, или даже в решительном революционном вмешательстве русской интеллигенции для изменения политического строя, неспособного к какому-либо добру для народа, хотя способного допустить разрастание всякого зла. Но и между последними те, для которых политические свободы по типу Тьера, Кавура или Пальмерстона составляли крайнюю мечту политического идеала для России, начинали враждовать с теми, которые понимали, что эти внешние формы свободы могли получить содержание для масс лишь при экономической эмансипации последних от нового рабства, наложенного капиталом на пролетариат, и стремились предотвратить для России печальный период капиталистической эксплуатации. Если И. С. Тургенев в своей лекции о Пушкине 1859 г. указывал, что уже в эпоху Гоголя «Медным всадником» нельзя было любоваться вместе с «Шинелью», то в эпоху Добролюбова это отрицание наслаждения в искусстве одною эстетическою формою должно было сделаться еще резче, обратиться для многих людей нового обычая в рутинный прием мысли и получить в иных случаях карикатурный характер. Иван Сергеевич мог предвидеть этот фазис, мог умом признать законность или фатальность его различных проявлений, но, оставаясь художником в душе, он не мог не возмущаться этими проявлениями. Он чувствовал, как он писал это в своем дневнике (I, 99, примеч.), «невольное влечение»⁴¹ к растущей силе представителей общественного течения, которая отвергивалась от искусства и готова была отрицать его во имя общественных забот, как ко всякой честной силе, но это нравственное влечение соединялось невольно с эстетическою неприязнью, и тип Базарова вырос из-под его пера как фатальное воплощение нового течения, как сила, о которой «думать нечего», а которую «надо слушаться или ненавидеть» (IV, 305). Перед нею все окружающее мелко, слабо и, частью, пошло; Базарова же «в пошлости никто бы не упрекнул» (IV, 252). Но эта сила «трагическая» («Общее дело», № 56, стр. 5). «Фигура сумрачная, дикая, большая, до половины выросшая из почвы, сильная, злобная, честная — и все-таки обреченная на погибель» (там же); она влекла к себе того, который дал когда-то «Аннибалову клятву» и участвовал в войне против «царства пошлости», но она в то же время отталкивала художника своею «грубостью, бессердечностью, безжалостною сухостью и резкостью» (там же) и, независимо от воли автора, отталкивала от себя и читателя. К тому же в группе, которую Иван Сергеевич воплощал в Базарове, его, проникнутого влиянием западного европеизма, возмущали и некоторые другие стороны. Для него в западных теоретических учениях были догматические принципы, относительно которых он не мог сказать, что он «не принимает ни одного принципа на веру» (IV, 194). Его возмущали не только как дело «несвоевременное», но и как политическая ересь нападения «Современника» на «Кавура, Пальмерстона, вообще на парламентаризм, как на неполную и потому неверную форму правления» (I, 31). Его возмущало не столько самое нападение на дорогие для него догматы в эстетике и политике, сколько бесцеремонность «глумления», «излюбленного свистания» (I, 42)⁴². И это раздражение невольно переходило в краски, которыми он обрисовал Базарова, особенно же в те фигуры бессмысленных последователей нового обычая, которые составляли фон для главной фигуры, в личности этих ничтожных прихвостней силы, Кукшиных и Ситниковых, у

которых «вечно скребет на душе» (IV, 279). Впоследствии, когда Базаров стал мишенью для реакции, когда слово «нигилист» «было превращено в орудие доноса» (I, 104), когда типы «Отцов и детей» перешли в пошлые фигуры повестей Авенариуса, Писемского и даже под пером Гончарова обратились в карикатурную личность героя «Обрыва», когда Иван Сергеевич «замечал холодность, доходящую до негодования» в людях «близких и симпатических» ему и «получал поздравления, чуть не лобызания» от людей противного ему лагеря (I, 99), он возмутился против непонимания образа, им созданного. Он совершенно искренно утверждал, что он, «за исключением воззрений на художества,— разделял почти все его (Базарова) убеждения»⁴³; что Базаров «честен, правдив и демократ до конца ногтей» («Общее дело», № 56, стр. 5); что вместо «нигилист» следует читать «революционер»; что вся повесть «направлена против дворянства, как передового класса», который «дальше благородного смирения или кипения» не доходит (там же). Для автора, в виду искажения типа Базарова в полемике партий и в трансформациях его тенденциозными реакционерами, давно исчезли из виду те слабые следы собственного раздражения, которые он невольно влил в грозную фигуру Базарова, а все живее выступало нравственное влечение к борцу против пошлости жизни. Но недостаток «постоянного общения с средою, которую он взялся воспроизвести», имел следствием, что повесть произвела и должна была произвести на ее читателей 1863 года совсем иное впечатление.

Базаров, Ситников, Кукшина были типы живые, ваятые из действительности. Базаров был бесспорно силой, силой честной и революционной, а что около всякой новой общественной силы являются и должны являться несостоятельные, пошлые подражатели, было совершенно неизбежно. Итак, художник был прав как художник. Но если бы Иван Сергеевич взглянул ближе в «среду» 1861—1862 годов в России, он сказал бы себе, что этой среде мало было дела до художественной правды, когда поэт выставил перед нею тип «нового человека». При борьбе партий, заострявшейся с каждым днем, при возникновении революционного брожения, первых прокламаций, университетских историй, ареста М. Л. Михайлова, при быстро развивавшейся около Каткова литературе доносов и нравственной грязи, вопрос был не в том, сила ли Базаров — это чувствовалось и противниками, и сторонниками революции,— не в том, действительно ли новое движение вызывает к жизни, между прочим, и конкретные типы, схожие с Базаровым, с Ситниковым, с Кукшиной; но в том, составляют ли эти типы ту характеристическую особенность нового движения, которая делает его движением за лучшее будущее, которая влечет к нему все лучшие силы молодой интеллигенции, вооружает против него всю общественную дрянь начала 60-х годов. Дело было в том, случайность ли для русского общества этих годов появление этой силы с ее неизбежными прихвостнями или они составляют необходимую ступень для дальнейшего развития русских Инсаровых, для которых «жизнь дело грубое» (IV, 82), составляют необходимое следствие предшествовавшего развития русской интеллигенции. Борцы за новое чуяли, что «Отцы и дети» могут обратиться в орудие против них, и никто из них не мог бы удивиться, как удивился Иван Сергеевич, если бы в 1863 году услышал обвинение «нигилистов» в пожаре Апраксинского рынка (I, 96)⁴⁴. Но и реакционеры находили и могли находить, подобно Каткову, что это оружие ненадежное, что в могучей фигуре Базарова остается много нравственно-привлекательного для тех, кто поглубже взглянет в этот тип людей, «не принимающих ни одного принципа на веру» (IV, 194) и «отрицающих», потому что «в теперешнее время полезнее всего — отрицать» (IV, 222). Художник, создавший Базарова, «сам не зная, любил ли он или нет выставленный характер» (I, 102)⁴⁵, был прав как художник-инди-

видуалист, потому что создал живой тип, но он, как русский своего времени, свидетельствовал о своем недостаточном «общении» с русской средою и ее жгучими вопросами дня: русские 60-х годов могли и должны были *или* страстно любить, *или* страстно ненавидеть то течение времени, которое воплощалось в типе Базарова, и нравственное возмущение среди борцов 60-х годов было неизбежно.

Но был ли он прав как художник общественный? «Воплотил ли он», как «стремился», по собственному сознанию, сделать это, «в надлежащие типы самый образ и давление времени»? Грозные, трагические силы Базаровых и карикатурность их подпевал Ситниковых и Кукшиных составляли ли характеристические черты общества этого времени? Если бы около Базаровых были *только* или даже *преимущественно* Ситниковы и Кукшины, да, пожалуй, бесхарактерные Аркадии, ищущие кого бы то ни было, кто держал бы их под башмаком, неужели возможно было бы воспитательное революционное действие на общество статей Чернышевского и Добролюбова? Неужели под «глумлением» над «принципами», под повальным «отрицанием», под «эгоистическим нигилизмом» поклонников Писарева (ср. «Underground Russia», америк. изд. 1883, стр. 14 и след.)⁴⁶ самым существенным, самым характеристическим признаком времени не был рост *положительных* убеждений, готовности на жертвы из-за этих убеждений, *серьезное* отношение к тому, что действительно было серьезно, *страстное* стремление к тому «настоящему дню», о котором писал Добролюбов, кончая разбор «Накануне»? Художник нарисовал с привычным ему мастерством опять-таки *угол* картины, но не воспроизвел «образ и давление времени». Ни в Базарове, ни в его обстановке не видно приготовления поколения тех пропагандистов и пропагандисток, которые понесли «благую весть» в народ как кузнецы, как фабричные работники и работницы, как сельские учителя и учительницы, тех Мышкиных, которые клеймили своим словом судей и прокуроров, тех Перовских, Осинских, Желябовых, которые шли умирать за идею на виселице. Точно так же нет для Базаровых предшественников, подготовивших их, ни в стариках Кирсановых, лучшая часть жизни которых заключается в «волшебном мире» воспоминаний, ни в старике Базарове, который, хотя и знал наперечет «тех-то, в южной армии, по четырнадцатому», но находил, что «его дело — сторона». Мы ничего не знаем о том накоплении ненависти к самодержавию, которая от «Аннибаловых клятв» Тургенева и молодых порывов Герцена переходила в разрушительный анализ Чернышевского и в страстное слово Добролюбова, чтобы позже вызвать фанатическое движение молодежи в народ и трагедию на берегах Екатерининского канала⁴⁷. Поколения сменяются, их типы оказываются иными; художник-индивидуалист воспроизводит их с поразительною живостью; но художник общественный не говорит нам, совершается ли здесь чудо, или необъяснимая случайность, или логическая эволюция истории.

При подобном отношении к жизненным вопросам в России совершенно понятно, что Иван Сергеевич был глубоко угнетен тем, что последовало за 1863 г., и это подавленное состояние отразилось в группе произведений, таких как «Призраки» (1863), «Довольно» (1864) и «Дым» (1867). Именинное настроение в России рассеялось окончательно. Реакция открыто вступила в свои обычные права. Катков торжествовал и имел за собой значительную партию сочувствующих. Чернышевский пошел на каторгу. Председатель Литературного фонда подписывал адреса Муравьеву-вешателю⁴⁸. Выстрел Каракозова перенес диктатуру последнего из Вильно даже в Петербург, и там гимны ему раздались уже не из уст какого-нибудь автора «Коляски» или неповинного в каких-либо идеях «Кузнечика-музыканта»⁴⁹, но из уст «музы мести и печали»⁵⁰. Новое поколение внутренних ташкентцев-хищников⁵¹ жаждало добычи. Сам Тургенев переживал

СБОРНИК СТАТЕЙ ФРИДРИХА
ЭНГЕЛЬСА (БЕРЛИН, 1894)
С ДАРСТВЕННОЙ НАДПИСЬЮ
П. Л. ЛАВРОВУ:

«Петру Лаврову, Лондон, 25 января 1894 г.
Ф. Энгельс» (на французском языке)

Титульный лист

Сборник состоит из статей Ф. Энгельса на
международные темы, опубликованных в
газете «Volksstaat» в 1871—1875 гг.

Институт марксизма-ленинизма при
ЦК КПСС, Москва

Internationales

aus dem

Volksstaat (1871—75).

Von

Friedrich Engels.

A. K. K. K. K.
London, 6. 1894 F. Eng.

Preis 30 Pfg.

Berlin 1894.

Verlag der Expedition des „Vorwärts“ Berliner Volksblatt
[Theodor Biele]

тяжелое время, когда сознавал себя непонятым и не видел надежды на лучшее нигде: ни в реформах сверху, на которые так недавно все надеялось; ни в инициативе интеллигенции, которая, в одной своей доле, оказалась трусливою и неспособною к деятельной оппозиции, в другой, — все враждебнее отступала от союза как с конституционалистами-западниками, так и с помазанными елеем и постным маслом жалкими остатками славянофилов-народников; ни в народе, наконец, который оставался чужд политическим интересам.

Тем не менее этот народ, сближению которого с передовою интеллигенциею никогда не верил Иван Сергеевич, представлялся ему не смрнным и примиренным со своею судьбою, но в «великую ночь», когда «можно видеть, что бывает закрыто в другое время» (VIII, 19), сны этого народа воплощались для поэта в грозное видение (VIII, 25 и след.):

«...вдруг возле самого моего уха раздался грубый бурлацкий смех — и что-то со стоном упало в воду и стало захлебываться... с берега отпрянуло эхо — и разом и отовсюду поднялся оглушительный гам. Чего только не было в этом хаосе звуков: крики и визги, яростная ругань и хохот, хохот пуще всего, удары весел и топоров, треск как от взлома дверей и сундуков, скрип снастей и колес, и лошадиное скаканье, звон набата и лязг цепей, гул и рев пожара, пьяные песни и скрежещущая скороговорка, неутешный плач, моление жалобное, отчаянное — и повелительные восклицанья, предсмертное хрипенье и удалой посвист, гарканье и топот пляски... „Бей! вешай! топи! режь! любо! любо! так! не жалей!“ слышалось явственно...

„Степан Тимофееч! Степан Тимофееч идет!“ — зашумело вокруг — идет наш батюшка, атаман наш, наш кормилец! — Я по-прежнему

ничего не видел, но мне внезапно почудилось, как будто громадное тело надвигается прямо на меня... Фролка! Где ты, пес? — загремел страшный голос. — Зажигай со всех концов — да в топоры их, белоручек!

На меня пахнуло жаром близкого пламени, горькой гарью дыма, и в то же мгновение что-то теплое, словно кровь, брызнуло мне в лицо и на руки... Дикий хохот грянул кругом...

Такими снами жил русский народ в фантазии поэта. Но поэт находил, что та сила творческой фантазии, которая способна дать ему пережить в образах эти сны, есть начало и губящее жизнь и само неспособное сделаться основой прочного интереса. Фантастическая Эллис ревниво враждебна всем реальным привязанностям и интересам поэта, она враждебна самой его жизни и высасывает его кровь, когда он ей сказал «возьми меня»; с другой стороны, она сама гибнет, обращается в «ничтожество», когда на нее надвигается другая стихийная сила реального процесса фатализма природы и истории.

«...Сила, которой нет сопротивления, которой все подвластно, которая без зренья, без образа, без смысла — все видит, все знает, и как хищная птица выбирает свои жертвы, как змея их давит и лижет своим мерзлым жалом»⁵².

Фантастические образы «Призраков» поэт перевел на язык точной мысли в «Довольно», когда он говорил о природе (охватывающей и бес-сознательный исторический процесс) (VIII, 55):

«Бессознательно и неуклонно покорная законам, она не знает искусства, как не знает свободы, как не знает добра... Где же нам, бедным людям, бедным художникам, сладить с этой глухонемой, слепорожденной силой, которая даже не торжествует своих побед, а идет, идет вперед, все пожирая?»

В этом фантастическом процессе поэту, подавленному современностью, казалось (VIII, 53—54) «страшно то, что нет ничего страшного, что самая суть жизни мелко-неинтересна — и нищенски плоха». Эта жизнь представлялась для него одним бессцельным повторением бессодержательных действий:

«Те же самые грубые приманки, на которые так же легко попадается многоголовый зверь — людская толпа, те же ухватки власти, те же привички рабства, та же естественность неправды — словом, то же хлопотливое прыганье белки в том же старом, даже неподновленном колесе»⁵³.

Это самое настроение мысли, в конкретном приложении к русской современности, автор высказывает и в «Дыме», развивая перед читателем процесс мысли Литвинова (V, 178 и след.):

«...все вдруг показалось ему дымом, все, собственная жизнь, русская жизнь — все людское, особенно все русское. Все дым и пар, думал он; все как будто беспрестанно меняется, всюду новые образы, явления бегут за явлениями, а в сущности все то же да то же; все торопится, спешит куда-то — и все исчезает бесследно, ничего не достигая; другой ветер подул — и бросилось все в противоположную сторону, и там опять та же безустанная, тревожная и — ненужная игра. Вспомнилось ему многое, что с громом и треском совершалось на его глазах в последние годы... дым, шептал он, дым...»⁵⁴.

Само собою разумеется, что повесть, в которой он воплотил это воззрение в живые образы, не могла быть картиною эпохи, не могла быть «воплощением в надлежащие типы образа и давления времени», но разве лишь углом этой картины, углом, где с особенным мастерством восставали типы правительственных ташкентцев и пустых говорунов, рабов нового обычая, сродни Кукшиным и Ситниковым — хотя немного честнее, на что следует обратить внимание — а громадное пустое пространство между теми и другими наполнилось кем же? Потугиными, неспо-

собными ни на какую энергическую общественную деятельность защитниками «ци-ви-ли-за-ции»; Литвиновыми, способными только оторваться от личной страсти во имя личного достоинства, но недостаточно логичными даже для того, чтобы рассудить, что если все — дым, тогда это достоинство тоже — дым, а потому не для чего дорожить им (Санин в «Вешних водах», 1871 г., и не дорожит), если же им дорожить стоит и оно — не дым, то следует раскинуть умом, в чем же состоит это достоинство; далее Ириною, в которой от человеческой жизни осталось только недовольство; наконец, эксплуататором нового обычая Губаревым, который теперь, как руководитель людей, которого «слушаются или ненавидят», заменил Базарова. Силы нет нигде. Жизнь историческая, действительно прогрессивная, из этого общества улетела. У него нет и не может быть будущего. Людям, мечтающим о благе, о возрождении *такого* общества, действительно можно сказать: «довольно!».

Когда человек переживает болезнь, многие из его действий приходится ему не ставить на счет. Уныние и подавленность Ивана Сергеевича в этот печальный период были временною болезнью, которую нетрудно объяснить и действительными событиями в русском обществе и его удалением от России, не позволявшим ему заметить сохранившиеся и укрепившиеся живые силы общества и новые пробивающиеся его ростки. Точно так же как он в «Отцах и детях», влагая самые резкие и сухие выражения в уста Базарова в той сцене, когда он болезненно раздражен до того, что готов подражаться с Аркадием, очевидно подсказывает читателю, что эту сцену Базарову *действительно* на счет ставить не следует, так и ему, автору, в общем развитии его общения с идеями и стремлениями русского общества, несправедливо ставить на счет односторонности картины общества, представляемой «Дымом». Конечно, это легко обдумать и сказать *теперь*, но тогда, в разгаре борьбы за остатки расстроенного лагеря искателей «настоящего дня», думалось и говорилось иначе. Я тогда из моей кадниковской ссылки очень жестко отнесся к автору «Довольно» и «Дыма». Не знаю, было ли ему известно, что неподписанная статья, в состав которой входил этот отзыв, принадлежит мне⁵⁵ (моя подпись, как ссыльного, была неудобна для редакции, и я даже не уверен, знали ли всегда редакции, что они печатают *мою* статью), или, может быть, Иван Сергеевич не обратил вовсе внимания на немногие страницы вступления и заключения в статье, содержание которой могло и не интересовать его, — но мы впоследствии, когда сошлись несколько ближе, никогда не говорили об этом, и он не дал мне заметить, знает ли он это. При первой нашей встрече за границей, в салоне весьма известного русского парижанина⁵⁶, при чем присутствовали В. Ф. Корш и г. Ханыков, Иван Сергеевич воспользовался первым удобным оборотом разговора, чтобы повести речь об «Отцах и детях» и горячо защищаться против неверного понимания этого произведения читателями и критиком. Так как я никогда не смотрел на Базарова, как на тенденциозную карикатуру, то мне было очень легко согласиться в этом с Иваном Сергеевичем, но я тогда же высказал ему, что я ставлю ему в вину его изображение в «Дыме» кружка Губарева и его поклонников, особенно в эпоху, когда группы, к которым можно было применять направление этого кружка, подверглись весьма ясно характеризованному гонению. Тургенев не защищался.

Замечательно, что «Дым», в котором изображение передовых кружков русского общества было гораздо одностороннее и гораздо менее привлекательно, чем в «Отцах и детях», вызвал сравнительно меньшее раздражение в этих кружках. Частью этому причину можно искать в том, что под ударами реакции они потеряли многих трусливых или рутинных защитников. Но может быть и то, что нельзя было не поставить на счет автору самую смелую для него картину кружка, дирижировавшего тогда

судьбами России, начиная с его молодых генералов разного типа, кандидатов на места министров и генерал-губернаторов и кончая «храмом, посвященным высшему приличию», с его «тайной тишиной» (V, 189), храмом, в котором злые языки узнавали будто бы приемную императрицы. За признание *этого* дымом, да еще очевидно зловередным, удушающим, Ивану Сергеевичу прощали многое. <...>

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Цитата из предисловия Тургенева к собранию романов в издании сочинений 1880 г. (бр. Салаевых, М.).

В дальнейшем Лавров приводит тексты Тургенева по этому изданию с указанием в скобках тома (римскими цифрами) и страниц (арабскими).

² Дневник Тургенева за ноябрь 1882—январь 1883 г. опубликован в «Лит. наследстве», т. 73, кн. 1, 1964, стр. 393—398. См. там же (стр. 365—392) статью И. С. Зильберштейна, в которой дана сводка сохранившихся данных о дневнике Тургенева за предшествующие годы.

³ Цитата из статьи Тургенева «Гамлет и Дон-Кихот».

⁴ Цитата из очерка Тургенева «Литературный вечер у П. А. Плетнева».

⁵ Михаил Леонтьевич *Магницкий* (1778—1855) — попечитель Казанского учебного округа (1819—1826), прославившийся на этом посту своим ретроградством и изгнанием ряда передовых профессоров Казанского университета.

⁶ Цитата из упомянутого предисловия Тургенева к романам.

⁷ Источник цитаты не установлен.

⁸ Цитаты из «Былого и дум» Герцена (ч. IV, гл. XXV — Герцен АН, т. IX, стр. 35 и 38; впервые: «Полярная звезда на 1855 год», кн. 1. Лондон, 1855).

⁹ См. прим. 4.

¹⁰ Цитата из лекции Тургенева о Пушкине 1859 г. См. прим. 31.

¹¹ См. прим. 4.

¹² Цитата из рассказа «Гамлет Щигровского уезда».

¹³ Цитата из повести «Призраки» (гл. XXIII).

¹⁴ Цитаты из VI и XI глав романа «Рудин».

¹⁵ Конец эпилога романа о гибели Рудина на баррикадах впервые был напечатан в издании 1860 г., т. IV. См. об этом подробнее в статье М. О. Габель «Творческая история романа „Рудин“» в настоящ. томе.

¹⁶ Цитата из VI главы «Рудина».

¹⁷ То же.

¹⁸ Цитата из очерка Тургенева «Два слова о Грановском».

¹⁹ «Воспоминания о Белинском» 1869 г. — II глава «Литературных и житейских воспоминаний».

²⁰ Цитата из очерка «Вместо вступления» к «Литературным и житейским воспоминаниям».

²¹ Цитаты (иногда неточные) из статьи Тургенева «Фауст, траг. Соч. Гёте. Перевод первой и изложение второй части М. Вронченко. 1844. Санкт-Петербург».

²² Эпизод, рассказанный Тургеневым в «Воспоминаниях о Белинском».

²³ Цитаты из рассказа «Довольно» (гл. XIV и XV).

²⁴ Цитата из очерка «Наши послали!»

²⁵ Лавров здесь неточен: Тургенев был под арестом ровно месяц (с 16 апреля по 16 мая 1852 г.), после чего его выслали 18 мая в Спасское; окончилась ссылка писателя 23 ноября 1853 г., т. е. через полтора года (см. «Летопись», стр. 62, 63 и 71).

²⁶ Лавров ошибается: «Рудин» был написан не в период ссылки, а позже, в июне — июле 1855 г., во время летнего пребывания Тургенева в Спасском.

²⁷ Цитата из статьи Герцена «Через три года (18 февраля 1858 г.)», напечатанной в «Колоколе», 1858, л. 9, 15 февраля (Герцен АН, т. XIII, стр. 195—196).

²⁸ Цитата из статьи Герцена «Манифест», напечатанной в «Колоколе», 1861, л. 95, 1 апреля (Герцен АН, т. XV, стр. 52).

²⁹ Цитата из брошюры М. А. Бакунина «Народное дело: Романов, Пугачев или Пестель?» (Лондон, 1862).

³⁰ «Записка об издании журнала „Хозяйственный указатель“» Тургенева, датированная: Рим. 9-го (21-го) января 1858 г. (с программой журнала), была впервые опубликована в «Русской старине», 1883, № 9, прилож., стр. 7—15 (XI, 434—443. См. также комментарий к ней, стр. 553—554).

³¹ Отрывки из лекции о Пушкине включены Тургеневым в «Воспоминания о Белинском».

³² Здесь и далее Лавров цитирует статью Добролюбова по изданию 1862 г. (под ред. Н. Г. Чернышевского. СПб.).

³³ Прокламация «Молодая Россия», написанная членом кружка Московского университета П. Г. Занчевским и распространявшаяся в мае 1862 г., призывала «ре-

затягивать помещиков» и «истребить» царскую семью. Она была отрицательно встречена Чернышевским и Герценом, считавшими ее призыв к оружию несвоевременным и ошибочным (см. статью Герцена «Молодая и старая Россия». — Герцен АН, т. XVI, стр. 199—205 и комментарии к ней — 411—412). Текст прокламации вошел в кн.: «За сто лет (1800—1896). Сборник по истории политических и общественных движений в России». Составил Вл. Бурцев, ч. I. London, 1897, стр. 40—46.

³⁴ Лицо не установленное.

³⁵ Артур Бенни (1840—1867) — журналист и революционный деятель 60-х годов. Приехав в Россию из Лондона летом 1861 г., он отправился в путешествие по стране с целью сбора подписей под конституционным адресом Александру II. Из этой попытки ничего не получилось. Копия проекта адреса сохранилась в парижском архиве Тургенева; на ней надпись: «Проект адреса государю, писанный в 1860-м году. Он был вручен Бенни — но впоследствии истреблен» (М а з о н, р. 60). Подробнее о Бенни и его поездке см.: письма его к В. И. Кельсиеву и к Герцену 1862—1863 гг. — «Лит. наследство», т. 62, 1955, стр. 23—36, а также кн.: С. А. Рейсер. Артур Бенни. М., 1933, и комментарий к письму Тургенева редактору «С.-Петербургских ведомостей» от 14 (26) февраля 1868 г. в защиту памяти Бенни (XI, 530—531).

³⁶ Николай Викентьевич Альбертини (1826—1890) — публицист, сотрудник «Отечественных записок» и «Голоса»; впоследствии политический деятель, связанный с Герценом. Осенью 1861 г. предоставил свою квартиру для сходки студентам Петербургского университета, о чем стало известно III Отделению. Об Альбертини см. статью Б. П. Козьмина в «Лит. наследстве» т. 61, 1953, стр. 881—891, и стр. 78, 84 настоящ. тома.

³⁷ Лицо неустановленное.

³⁸ «По поводу „Отцов и детей“» — V глава «Литературных и житейских воспоминаний». Впервые напечатана в «Сочинениях» Тургенева. М., 1869, ч. I.

³⁹ Письмо Тургенева к гейдельбергским студентам от 14/26 апреля 1862 г. адресовано К. К. Случевскому.

⁴⁰ Цитаты из названной главы (см. прим. 38).

⁴¹ Там же.

⁴² Цитаты из «Воспоминаний о Белинском».

⁴³ Цитаты (не вполне точные) из названной главы (см. прим. 38).

⁴⁴ Там же.

⁴⁵ Там же.

⁴⁶ Лавров имеет в виду книгу С. М. Степняка-Кравчинского «Подпольная Россия» (первое изд. — Милан, 1882).

⁴⁷ 1 марта 1881 г. на Екатерининском канале был убит бомбой Александр II.

⁴⁸ В апреле 1865 г. М. Н. Муравьев был возведен в графское достоинство. В связи с этим он получил множество приветствий от реакционной части общества. Председателем Литературного фонда в это время был Е. П. Ковалевский.

⁴⁹ Лавров имеет в виду книгу Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями» (1847) и в особенности, вероятно, верноподданническую главу — «О лиризме наших поэтов».

«Кузнецик-музыкант» — поэма Я. П. Полонского (1859).

⁵⁰ 16 апреля 1866 г. на торжественном обеде в честь М. Н. Муравьева, назначенного председателем Верховной комиссии по делу Каракозова, Некрасов прочитал хвалебное стихотворение, посвященное Муравьеву, надеясь этим шагом предотвратить нависшую над «Современником» угрозу закрытия (см. В. Е. Евгеньев-Максимов. Жизнь и деятельность Некрасова, т. 3. М., Гослитиздат, 1952, стр. 301—304). Текст этой «оды» Некрасова остается неизвестен. В течение многих десятилетий ему приписывалось стихотворение другого автора («Бокал за здравый поднимая...»). Эта ошибка была опровергнута Б. Я. Бухштабом в статье «О „муравьевской оде“ Некрасова» («Каторга и ссылка», 1933, № 12; перепеч. в сб. «Некрасов в русской критике». М., Гослитиздат, 1944, стр. 183—189).

⁵¹ Лавров намекает на сатирический цикл Щедрина «Господа ташкентцы», печатавшийся в «Отечественных записках» в 1869—1872 гг.

⁵² Цитаты из повести «Призраки» (гл. XI, XVI, XXIV).

⁵³ Цитаты из рассказа «Довольно» (гл. XIII, XIV, XVI).

⁵⁴ Цитата из XXVI главы романа «Дым».

⁵⁵ Статья Лаврова «Цивилизация и дикие племена». — «Отечественные записки», 1869, № 9.

⁵⁶ М. К. Клеман предполагает, что под «русским парижанином» Лавров имеет в виду Г. Н. Вырубова (Т. в восп. рев., стр. 80).